

Д. Панченко

То, что мы слышали, очень интересно и в целом оставляет самое благоприятное впечатление. Я, вероятно, предпочел бы реже обращаться к метафорам и чаще к таким характеристикам, как отношение к человеческой деятельности или оптимизм/пессимизм. Но нет смысла останавливаться сейчас на точках согласия или расхождения. Скажу только одно: мне 80-е годы, какими они были до сих пор, не нравятся. Радугу я пока не вижу, хотя готов согласиться, что эта метафора лучше других подходит к некоему идеальному двойнику того, что имеет место в действительности.

Я буду говорить о том, что мне по роду занятий лучше известно, – об историко-культурных исследованиях или, пользуясь термином, укоренение которого само по себе симптоматично, – о культурологии. Я предполагаю в самом сжатом очерке представить характерные черты историко-культурной рефлексии, захватывая как собственно исследовательский, так и оценочный ее аспекты. Речь пойдет об эволюции, но систематического сопоставления с 60-ми годами не будет. Если многие заслуженные имена окажутся в невыгодных контекстах, то я заранее оговариваюсь, что по жанру моего выступления должен сосредоточиться не на достижениях ученых, а на их уступках духу времени. Я постараюсь проследить преобладающие интересы и концепции, преобладающие представления о возможностях познания и характере своей профессиональной деятельности и таким образом очертить некую идеально-типическую стратегию гуманитарной деятельности. А в конце я думаю предложить несколько сопоставлений и обобщений.

Итак, перемену интересов характеризует обращение к маргинальным эпохам, маргинальным жанрам, явлениям и фигурам. Наблюдается спад интереса к разного рода классическим местам и временам – таким, как Перикловы Афины или Флоренция Медичи. О Просвещении становится неприличным отзываться без презрения. Если к классике все же обращаются, то подчеркивают конфликтные и деструктивные моменты, различные эксцессы. Растет интерес к низовым формам культуры, в частности – к смеховой. Инерция, заданная здесь книгой Бахтина, очевидна. Но если Бахтин книгу свою написал все-таки о великом Рабле, то его последователи склонны довольствоваться горизонтом площади и трактира. Сходным образом мир цезарей и римских граждан вытесняется миром таверн, а размах

римской политики и римского строительства оказывается чем-то малозаметными рядом с буднями микрогрупп. Характерно также, что внимание привлекают не столько профессиональные группы (как в традиционных и не столь новых работах М. Е. Сергеевко), сколько группы, связанные общностью времяпрепровождения (действующий в последние годы семинар Г. С. Кнабе).

Спору нет, и низовая культура, и микрогруппы, и второсортные писатели важны для изучения, и повышенный интерес к подобным вещам отчасти соответствует реальным задачам познания. Но если мы подведем баланс, учтя умы, пафос и спрос, мы ясно увидим, что речь идет не просто о расширении горизонта. Речь идет о целенаправленном снижении классики в противоположность маргинальным явлениям культуры.

Параллельно растет интерес к явлениям иррациональным. О Демокрите никто не пишет. Зато мифологическое мышление находят повсюду. Сами иррациональные формы сознания, по существу, не изучаются, однако систематически привлекаются для истолкования классических текстов. Индивидуальные усилия мысли, воспитанные образованием и волей умение и вкус – все это растворяется в стихии мифологического мышления или архетипах коллективного бессознательного, которые, таким образом, оказываются главными виновниками культурных достижений.

К этому явлению примыкает несколько иное: литературоведы все чаще сосредотачиваются на литературных связях, параллелях, возможных ассоциациях как на чем-то самоценном или даже самом ценном – и все реже над прямым и основным смыслом текста. То, что «пришло» в голову, как бы важнее того, что там выработано.

В интересе к маргинальным явлениям, иррациональным формам сознания и каталогах гипотетических ассоциаций есть нечто общее: во всех случаях в тени остаются результаты, достигнутые ценой затраты больших усилий – целенаправленных усилий человеческой воли.

Обратная сторона – реабилитация всякой (и, следовательно, собственной) культурной ситуации – независимо от интенсивности и масштабов культурной деятельности. Излюбленный тезис современного гуманиста – «все эпохи, все культуры хороши по-своему» и, в тенденции – «все писатели хороши по-своему». Этот тезис не нужно смешивать с научным принципом, по которому все явления культуры заслуживают изучения. Здесь речь идет, собственно, уже не о науке, а о взглядах тех, кто ею занимается. Вот что интересно. Тезис «все культуры хороши по-своему», оказывается, не предполагает симметричного ему – «все дурны по-своему». Следовательно, внимание концентрируется именно на реабилитации.

Впрочем, на деле не только интерес, но и симпатии распределены неравномерно. Мы охотно кого-нибудь оправдываем, но, кажется, разлюбили восхищаться. Мы воздадим

должное скромным сынам своего времени, но победители и полубоги вызывают у нас глухое раздражение. «Онтологический садизм», открытый у римлян, или «звериный индивидуализм» героев Ренессанса – тому яркое свидетельство. Что касается самого Лосева, чью руку вы, конечно, узнали, то он в том же духе писал и двадцать лет назад о мыслителях нашего столетия (в послесловии к книге Хюбнера). Но тогда это, как будто, никого особенно не увлекало, а теперь его книгами зачитываются. Открытие Востока все меньше становится открытием новой мудрости и новой поэзии и все больше поводом потоптать – а именно западную цивилизацию, в неистовстве предавая забвению принадлежность к ней, по крайней мере, нашей великой литературной традиции. Правда, остается влиятельным и направление, для которого ключевыми понятиями служат «диалог культур» и вообще «диалог». Здесь, с другой стороны, симптоматична эволюция от подчеркивания в диалоге спора – спора о самых важных вещах (как у Бахтина) к подчеркиванию выслушивания, обмена мнениями и ценностями (как у Баткина).

Показательны и другие следствия, которые были выведены из, казалось бы, разумного требования не судить всех по своим меркам. Широко распространился круг идей о принципиальном несходстве различных культурных эпох, которые, говорят нам, различаются не только тем, о чем мы и раньше знали, но и мышлением, а также наличием или отсутствием таких вещей, как любовь, дружба или совесть; есть, оказывается, культуры, в которых люди сочиняют целые поэмы и при этом не замечают, что они – сочинители, а метафоры, которыми полны их творения, они понимают не в переносном, а в буквальном смысле и т. д. и т. п. Частично мы имеем здесь дело с реальными проблемами, требующими, однако, более тонкого подхода. Частично же – с какой-то несуразной путаницей – например, рефлексии по поводу пространства и времени с ориентацией в пространстве и времени. В целом такого рода концепции строятся главным образом на принятии жанровых конвенций за особенности мышления, особенности выражения – за особенности восприятия действительности. Выводы, к которым приводят такие построения, подчас столь парадоксальны, что серьезное к ним отношение – это вопрос и знак времени. Сначала мы перестали судить по своим меркам, затем перестали мерить вовсе. Воистину – «не судите, да не судимы будете». Впрочем, имеется и мишень – те формы культурной деятельности, которые в наибольшей степени характеризует кумулятивное развитие – например, накопление достоверных знаний о мире. То, чем раньше европеец гордился, оглядываясь на упорный труд десятков поколений, теперь оказывается не более чем одним из культурных вариантов: наука объясняет по-своему, а мифология, не хуже, по-своему.

«То, что мы называем мифологией, для древних было наукой, а то, что мы называем наукой, завтра, возможно, признают мифологией», – примерно так высказался

Вяч. Вс. Иванов на состоявшейся этой осенью в Москве конференции «Жизнь мифа в античности». Такое заявление не только двусмысленно в устах ученого, но и совершенно несостоятельно по существу – как станет ясно всякому, кто даст себе труд сопоставить хотя бы процедурные стороны науки и мифологии. Это слишком просто, чтобы в реплике Иванова признать «одну из научных точек зрения». То, что прозвучало – это кредо. (Я отвлекаюсь сейчас от того, что здесь он во многом следует за Леви-Строссом).

Такого рода агностицизм разудалый дополняет агностицизм вялый. Ученые начинают едва ли не гордиться тем, что они ничего не измыслили, не навязали тексту какой-либо интерпретации, а как-то так его адекватно пережили и теперь нам пересказывают. Все это, конечно, хорошо. Но зачем тогда ученый – разве мы разучились читать? Близкое этому настроение я могу проиллюстрировать словами Д. С. Лихачева: «Памятник литературы, как и всякий памятник культуры и истории, нуждается в охране, в защите его текста. И чем древнее он – тем эта защита необходимее. Всякого рода эксперименты над текстом-памятником национального значения должны вестись с величайшей осторожностью и ответственностью». Остается добавить: «и лучше его вообще не трогать».

Параллельно выходят из обихода энергичные аналитические методы, направленные на обнаружение детерминант явления – как марксизм, так и фрейдизм; без употребления остается социология знания Карла Маннгейма. Мысль, что культурный переворот осевого времени чем-либо обязан распространению железа, заставляет солидных московских ученых ерзать на стуле и краснеть – словно какое-то неприличие. Словосочетание «законы природы», прозвучавшее вдруг на упомянутой мной мифологической конференции, вызвало смех в зале. Короче – не мешайте нам связывать чаяния с нечаянным, не напоминайте о том, что мы сами имеем какое-то отношение к тому, как складываются наши обстоятельства. Разве неясно? – жизнь трагична и, в общем-то, иррациональна. Ваши спора напоминают нам проработки. Знание относительно, а человек-то он хороший...

Мы – современники впечатляющего угасания стремления к истине. Картина современных гуманитарных исследований – это, с одной стороны, робкий энциклопедизм – бесполезный, но формирующий заниженные стандарты научной деятельности, а с другой – отчаянный волюнтаризм. В суждении о ценности работы на первый план выдвигается не «верное решение», а «интересная идея». Но если мы задумаемся над природой «интересной идеи», – идеи, встречающей интерес у данной исторической аудитории, – мы обнаружим, что, как правило, она означает всего лишь приложение готового уже опыта к какой-либо еще неохваченной им сфере, т. е. не имеет даже эвристической ценности. Мало того, поскольку интересная идея выдается за научную – по правилам игры она получает научное по

видимости обоснование, провоцируя то, что является подлинным бедствием современной гуманитарии – упадок логической культуры исследования. (Перестают различать даже такие вещи, как «в работе сделан вывод» и «в работе прозвучала мысль»).

Почему оказывается возможным, что в мировоззрении кругов, занятых, как предполагается, познанием, столь мало ценится разум и целенаправленные усилия? В обмен на какие блага люди сами разрушают форму своей профессиональной деятельности?

Прежде всего в обмен на удовольствие, все меньше трудясь над предметом, все больше говорить о себе. Тут и манифестация мировоззрения, и трепетное отношение ко всему, что с нами случилось – пришло в голову, почудилось, показалось занимательным. Всем этим теперь можно поделиться с читателем. Казалось бы, такое положение вещей, должно, по крайней мере, способствовать накоплению экзистенциального опыта и вообще культурному разнообразию – ведь все мы неповторимые индивидуальности. На деле происходит противоположное. Личное начало, чтобы быть действительно личным, должно быть чрезвычайно мощным, открывающим новые истины, которые захватили бы других. В противном случае оно принимается лишь тогда, когда отвечает коллективным ожиданиям, т. е. варьирует общие места. Такая перспектива не представлялась бы занимательной, если бы не одно спасительное обстоятельство: наличие сотен карьеристов, отбывающих номер в различных учреждениях и так называемых творческих союзах. «Мы не как они, мы – честные люди», – вот, собственно, главное, что связывает современного гуманитария с той аудиторией, к которой он обращается, вот что прежде всего он хочет сообщить. Основная стратегия гуманитарной деятельности на сегодняшний день состоит в том, чтобы обнаружить такой подход к материалу, который позволил бы идентифицировать автора с престижной группой. В сочинениях наиболее влиятельного направления – у структуралистов и семиотиков это доходит до гротескной формы, заметно это и у других. Конечно, знания, труд, изобретательность не вовсе утрачивают свое значение, но основой признания становится не получение непреложного результата – вклада в науку, а соответствие манеры ожиданиям престижной группы. Однако наука в той мере, в какой она остается наукой, не бывает либеральной или казенной. Конструирование элитарного самочувствия влечет за собой девальвацию общих ценностей (научное знание) в пользу групповых. Исследование превращается в присягу. И беда именно в этом, а не в стремлении к самоутверждению как таковому. Вопрос в том, на чем оно строится: на том, что получен объективно значимый результат или на том, что нас признают единомышленниками в мировоззренческих вопросах.

В целях систематизации я, разумеется, утрирую картину. Познание продолжается. Ни умные люди, ни хорошие работы покуда еще не перевелись. Исследовательский интерес, по счастью, неистребим, а научная процедура – коль скоро она была однажды открыта – дает

для его реализации наиболее адекватную форму. Имеются и замечательные достижения, но в значительной мере – «несмотря на». Господствующая жизненная стратегия им не благоприятствует. И это касается не только культурологии. Понятно, что те тенденции в мироотношении и деятельности, о которых шла речь, не являются исключительным достоянием историков и филологов. (Здесь присутствуют художники... Что же, – в последних выставках мизантропия была представлена почти с такой же наглядностью, как в книгах Лосева). В дополнение к сказанному отмечу еще переход к некоей щадящей антропологии. Что подчеркивается в христианском мироотношении? Право каждого из нас на понимание и сочувствие, какими бы мы ни были. В 60-е главным писателем был Толстой, затем его сменил Достоевский. Антропология первого строга, он, как известно – обличитель с ясно выраженным моральным императивом; поступки и обстоятельства его героев четко детерминированы тем, какие они люди. Второй убеждает нас, что, в общем, никакой человек не погиб окончательно, но способен на прорывы к любви и правде. Правда, совсем в последние годы книги, кажется, вообще стали меньше значить. (Сейчас междуцарствие. Может быть писателем совести станет Андрей Платонов?)

Относительное единство антропологии и вообще мировосприятия людей, связанных с гуманитарной и художественной деятельностью, само по себе еще не предполагает тождественности практических следствий в этих двух сферах: то, что непродуктивно для познания, может оказаться иным для художественного творчества. Между тем, и здесь все мы отчетливо ощущаем нехватку больших достижений. И это в то время, когда нет роли престижнее роли художника! В чем тут дело? Я, конечно, не рассчитываю дать исчерпывающий ответ на такой вопрос, но попытаюсь выявить некоторые препятствия, вытекающие из позиции, добровольно принимаемой самими творцами духовной культуры. Скажу главным образом о том, что является особенностью последних лет. Мировоззрение тех кругов, о которых, собственно, и имеет смысл говорить в связи с культурной деятельностью, обычно ассоциируется с более или менее последовательной альтернативной позицией. Однако, стоит отвлечься от общих деклараций и обратиться к конкретным оценкам и ходам мысли по разным поводам, как тотчас выясняется присутствие в нем консервативной интенции. В частности, на это указывает весь реабилитационно-щадящий комплекс от низвержения героев и умиления маргиналиями до «понять меня, какой бы я ни был». Во всех производных от него идейных конструкциях речь идет именно о подтверждении позиций, а не об освоении новых. Показательна склонность к иррационализму и индетерминизму, недоверие к возможностям знания и рационально-аналитическим методам, наиболее адекватным готовности устраивать жизнь. (Каталоги ассоциаций взамен толкования смысла, мне кажется, той же природы). Этот глубинный консерватизм (возможно, чтобы не возникло

путаницы с современным неоконсерватизмом, имеет смысл назвать его попросту косностью), я думаю, помогает понять, почему, в то время как установка на новаторство имеет столь высокий статус, так мало новаторства в культурной деятельности. Авангардистские традиции не должны вводить в заблуждение. Становясь традицией, авангардизм перестает быть самим собой. Сознание современного авангардиста замечательно исторично: он уже ничего не бросает с корабля современности – напротив, опыт истории, признавшей непризнанное, служит ему главной опорой. И в литературе, и в живописи, и в музыке он охотно вписывает себя в историко-культурный ряд, но его отношения с традицией и классикой строятся так, чтобы методами деканонизации, игровой профанации предотвратить образование такой структуры, в рамках которой совершаемый им культурный акт доступен измерению по ценностной шкале. Такое разрушение форм, как правило, не достигает нового опыта, зато девальвация критериев позволяет предположить, что «мы не хуже» (на то, что «лучше» – почему-то никто не претендует), и открывает новые способы получить признание.

Консервативная интенция показывает, что при всех жалобах есть нечто такое, чем очень дорожат. Чтобы кратко определить сложившуюся социо-культурную ситуацию, я прибегну к понятию «институционализированный нонконформизм». В этой ситуации потери, связанные с нонконформистской ориентацией, становятся соизмеримыми с выгодами принадлежности к группе, достигшей возможности конструировать свое самосознание как элитарное. Принцип консолидации этой группы – «честное творчество», казалось бы, однозначно плодотворен. Но что он подразумевает: консолидацию по творческим принципам или консолидацию по убеждениям людей, занятых творчеством? Не так давно подобная антитеза могла показаться надуманной. «Свобода», стоявшая во главе угла в конце 60-х – начале 70-х, не только мировоззренческий принцип, но и фактическая необходимость творческой деятельности. Неудивительно, что выставки тех времен обладали большей выразительностью и тогда же сформировались последние из поэтов, имеющих ныне более или менее неоспоримое признание. В дальнейшем во всех областях (в историко-культурной рефлексии чуть раньше, чем в живописи и литературе) произошла, с одной стороны, неполная, а с другой стороны, все же широкая легитимизация тех тем, акцентов и приемов, которые первоначально приходилось отстаивать. Таким образом, почва для консолидации осталась, но характер ее изменился. Условия культурной деятельности стали иными. Авангардизм перед лицом монолитного традиционализма и в условиях деканонизированного искусства – два разных явления, как и структурализм – перед лицом казенного дилетантизма или в «системе культурологии». Мы не были заинтересованы придавать этим переменам значение, предпочитая блага более прочного положения соединить с моральными выгодами высокой позиции. Итак, общественное положение нонконформистского искусства и

нонконформистской гуманитарии укреплялось. Параллельно тому, как – в процессе их легитимизации – падал удельный вес собственно творческих оснований для консолидации, все больше росла притягательность самой консолидации. Следствия? Одно из них прозрачно – умножилась всевозможная имитация творческой деятельности, что, в частности, ведет к заниженным представлениям о том уровне, начиная с которого вообще стоит говорить о культурном факте, – и затем к падению уважения культурной деятельности со стороны общества. Другое. Хотя пружиной консолидации все больше оказываются не творческие принципы, а принадлежность к группе, сохраняется прежний способ идентификации члена группы – по использованию им таких-то художественных или интеллектуальных приемов. Применительно к искусству это означает углубление разрыва между подлинным экзистенциальным опытом и способами его выражения. Ситуация провоцирует использование неадекватных, «запаздывающих» средств. Далее, теперь не рассеянные одиночки вдруг счастливо обретают друг друга, а группа, имеющая голос и престиж, осуществляет свое воспроизводство. Тут уже и субстрат всякого творчества – личный экзистенциальный опыт – спешит из личного и из опыта превратиться в набор готовых групповых клише. Наконец, элита – это не просто группа с групповым давлением на ее члена. Это группа, готовая в сфере своего приоритета довольствоваться непродуктивным мышлением. Вот и выходит, что нас сплошь и рядом поражают однообразие и предсказуемость художественных и интеллектуальных решений. Вот мы и имеем творческую личность, более или менее талантливо варьирующую общие места. Нонконформизм плодотворен, еще лучше, когда такой проблематики не стоит, институционализированный нонконформизм – порочный круг. Остается утешаться разве тем, что консолидация творческих личностей происходит хотя бы по поводу высоких ценностей, а не больших денег или «творческих командировок».

Престижность творческой деятельности в такой ситуации, как мы видим, оборачивается против нее. Собственно, именно она, престижность, а не «честное творчество», создает фактор элитарности и, соответственно, толчение воды в ступе, а как следствие – потерю доверия к искусству и падение его значения. И еще на чем может быть основана сверх-престижность творческой деятельности в эпоху ее относительного упадка? Наряду с узурпацией старого представления о месте художника или мыслителя, сложившегося в иных условиях и достигнутого другими, – на снижении ценности других видов человеческой деятельности, что, в свою очередь, является одним из узловых моментов современного мировоззрения. От убеждений типа «инженер – ничто, он не озабочен духовным и нетленным» духовная культура только проигрывает. В атмосфере моральной небезопасности человеческой деятельности как таковой возрастает зависимость деятеля от

групповой поддержки, которую при этом оказывается возможным получить не за собственную работу, а за что-то другое. При размывании иерархии достижений внутри какого-либо вида деятельности возрастание роли иерархии между видами деятельности ведет не к процветанию тех, которым отведена высокая ступень, но – я обобщаю сформулированный применительно к гуманитарии вывод – к тому, что люди сосредоточиваются не на «секретах ремесла», а на овладении концептуальными и практическими навыками, позволяющими идентифицировать их деятельность с имеющей высокое положение в иерархии. Успех художника и искусства, успех ученого и науки – расходятся, ибо идентификация идет главным образом по внехудожественным и вненаучным критериям. А что касается «честного творчества» – оно все больше перестает быть таковым, поскольку перестает быть творчеством.

Я сознаю, сколь наивно избличение «ошибочности» интеллектуального или художественного развития – как и то, что деятельности, которая в схематическом анализе предстает весьма расчетливой, могут сопутствовать совсем иные, благородные и бескорыстные переживания. Но и я ограничиваю рассмотрение тем уровнем проблематики, на котором возможны наши какие-то сознательные решения. Если свобода публикаций или выставок – вопрос государственный, то свобода мысли и творчества – вопрос профессиональный, вопрос призвания и методических усилий, в результате которых обретается самостоятельность.

Перспективу я вижу как раз в утверждении самостоятельности и приоритета негрупповых ценностей. Насколько я понял, наши докладчики возлагают большие надежды на православие. Мне представляется – не обсуждая того, сколь важный опыт можно приобрести на этом пути, что в среднестатистическом плане это выльется в то, что, собственно, уже происходит – опять-таки бесперспективную консолидацию на основе чувства превосходства над обывателем. Говоря об общих ценностях, я имею в виду совсем простые вещи – профессиональную деятельность и тот общий всем нам этический кодекс, включающий презумпцию уважения, готовность быть полезным другому, любезность и вежливость, в конце концов. Ведь и в повседневной жизни эти ценности стали признаваться чем-то второстепенным, если только человек отвечает единственному требованию, условно именуемому «порядочностью». Все же, чтобы обозначить акцент, я произнесу слово «достоинство». В начале 60-х главным понятием была «правда», затем таким понятием стала «свобода», с конца 70-х в таком качестве, хотя и более робко, звучит слово «культура». Но человеческое достоинство, помимо прочего, и есть та ценность, которая делает осмысленным разговор о культуре.